"РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОГО НАРОДНОГО БЫТА"

I

Я ее давно-давно знаю: мы из одной деревни; вместе в куклы игрывали. Уж какая она была искренняя, какая сердечная девочка, скажу вам! Как подружится с кем, полюбит — рада душу отдать; в глаза смотрит; пожелай чего-нибудь я — угадает, угодит. Мы с ней слюбились крепко. Бывало, она мне все свое отдает; и не прошу — сама отдает: и куклы, и сережки свои, — все, все, да только улыбается, на меня глядя.

Девочки другие и начнут дразнить ее, подсмеиваться:

— Раздарила, теперь у самой ничего нету! А постарше, те ее бездомовницею называют.

— Вот, — говорят, — будет из тебя хозяйка путная! Соберешь домок!

И мать ей часто за это выговаривала и грозила, а она все только усмехается.

— Ну, не жалко тебе раздавать-то все?

— Чего жалко? Я ее люблю, — что ж тут жалеть? Не жалко…

II

Нам пошел пятнадцатый год — однолетки мы с нею, — как вышла наша барышня замуж. А она была, наша барышня, уж не в первом цвету. Много книжек читала, и нравом была строптива: на соседей косилась, на людей гневалась. Жениха не находилось ей, дружбы ни с кем не водила. Худела да желтела над книжками.

Лет уж ей за тридцать было, когда приехал ее братец в гости из губернии, а с ним высокий барин, этакой круглолицый да видный из себя, спокойный, довольный; все поглаживает себя рукою по подбородку да расхаживает с трубкою мерным шагом.

Первые-то дни барышня хоть и понарядней приоделась, да в разговоры с приезжим гостем не пускалась; а он поклонится утром, спросит о здоровье и ею тож не занимается.

Барин только часто на них поглядывал (этакие у него глазки были пронзительные, узенькие, черные; лукавый очень вид имел и хитрый), поглядывал, да вечерком раз, обнявши сестрицу, долго с нею по комнатам ходил и все о чем-то толковал-толковал, словно советовал, образумливал.

Барышня задумчиво пришла в свою комнату, и долго думала она, думала и вздыхала.

С той поры она ласковей с приезжим стала, и все вместе они с ним и гуляют, и за обедом рядышком сидят. А как собрался он выезжать, барышня наша в слезы ударилась. Братец насупился. Приезжий все это видит; самому ему жалко стало, не то — скучно; махнул он рукой да и посватался.

Свадьбу сыграли, не откладывая, и поехали молодые на житье в губернию.

III

Молодой барыне захотелось из своей деревни служанку себе взять. "На что мне чужую, когда свои есть? Чужой надо плату, да еще какая слуга попадется, — нанятую не научишь".

Выбрала она Сашу: смышленее, проворнее всех она ей показалась. Взяли Сашу и увезли с собою. Отец, мать, сестры — все остались, одна Саша поехала на чужую сторону.

Очень я плакала, провожаючи. А она прижимает меня к себе: "Не забуду, не забуду тебя!"

Уехала она, и мало к нам вестей доходило. Так год прошел. Вдруг недобрые слухи о Саше стали носиться. Мать хоть плачет, хоть тужит, а все верить ей не хочется. Отец черней тучи и слова о Саше своей любимой не промолвит. Сестры услышат про нее — краснеют. Судят-рядят люди, а все еще никто наверно сказать ничего не может. Вот тогда-то меня потребовали к молодой барыне. Шлют меня к ней в губернию.

Пришла я прощаться к Сашину отцу и спрашиваю:

— Что прикажете Саше?

— Да не знаю и сам, что ей приказать, — отвечает, — благословить ли мне ее или проклясть свою дочку!

Стоит, руки скрестил и в окошко глядит.

А мать со мной вышла, слезами заливается, провожает за ворота.

— Благословляю я! Скажи ты Саше, что мать благословляет… Скажи, чтобы богу молилась…

Сестры повыбегали себе за мною:

— Кланяйся сестре! Кланяйся Саше нашей!

IV

Тяжело ведь отбиться од роду, от своей стороны, — кто этого не знает! Еду я к барыне, да все про Сашу думаю, и тем только утешаюсь: увижу я свою подругу верную, поговорю с нею, потужу — легче мне будет… А Саша меня как встретит? И что с нею сталось? Правда ли, что люди говорят? И каково житье ей? Всю дорогу целую раздумываю про Сашу.

Вез меня наш деревенский старичок Прохор, сморщенный, тщедушный старичок и страх завистливый, — что б ни увидел в чужих руках, хоть там палку березовую, сейчас вздохнет: "Эх, кабы мне такую!" И все, бывало, он твердит: "Эх-ма! Кабы денег тьма!" По пути мы с ним села барские богатые проезжали, леса темные дубовые, поля широкие, — все он вздыхал: "Эх-ма!" Такой чудной был старичок.

V

Мы приехали вечером. Наша барыня жила среди города, на широкой улице. Все дома каменные, высокие, крыши железные, окна большие, и свет из окон на улицу вырывается; перед крыльцами фонари горят; по мостовой стучат дрожки, коляски и наша тележка тряская. Вечер темный был, время осеннее, тучи ходили — месяц хоронили, только звезды яркие сверкали. Холодноватый и свежий ветерок веял.

Подъехали мы к белому каменному дому, в ворота постучались. Нам отворил бородач, тучный из себя и приземистый, — видно, кучер; гордо кивнул нам и что-то проворчал про себя.

VI

Мы за ним в избу вошли — почернелая, неубранная, лавки прожженные, столы шатаются, везде вода по полу разлита, зола рассыпана.

Повар тут сидел в белой куртке, сгорбленный, веселый старичок, плешивый, и два парня круглолицых, румяных, один в армяке, а другой в куртке, с пуговицами блестящими. Сейчас все они к нам бросились: давай осматривать, моргать, усмехаться. Повар нам кивнул головою: садитесь, отдохните.

Саши нету; спросить про нее боюсь. Прохор поглядывает да все вздыхает. Все сидим, молчим; а в разбитое окно ветер свечу задувает.

— Ну, — говорит кучер, — как же вы там, в деревне-то у себя, роскошничаете? Несеянную муку пожираете?

Так все и залились хохотом. И пошли тогда шутки да прибаутки, и тешились они, и пересмеивали нас, сколько их душе было угодно. Парни выходят из избы да и говорят нам:

— Ну, спасибо, что приехали! Хоть маленько мы вами тоску свою размыкали!

И вправду: скука их одолела всех, так рады были они хоть чем попало себя повеселить. Такие у них лица были недовольные, да заспанные, да скучные.

VII

Я с духом собралась и спрашиваю у повара про Сашу. Кучер услыхал и перебил.

— Ты мне поклонись да у меня спроси! Вот гляди-ка. (Дверь отворил). Видишь, коморочка против? Там твоя Саша сидит, а вот у меня ключик от замочка. (Показал мне ключ из кармана).

Говорит он, а я смотрю, — какой тяжелый замок висит на двери! Саша ты моя, бедняжечка!

— Что ж, — говорю, — никогда она и не выходит оттуда?

— Как можно! Ей все пути скатертью, только вот за ворота со двора — не прогневайся!

— На что ж ее заперли?

— Есть таковая причина!

— Пустите меня к ней, — прошу его.

— С нашей радостью, — иди!

Отомкнул, я вошла — темно, хоть глаза выколи, там.

— Саша! Саша! — кличу.

Тихо.

Не ушла ли она куда, думаю, как-нибудь вырвалась...

Постояла я там и опять в избу вошла.

— Видела? — спрашивает кучер.

— Видела, — говорю.

— Радости-то, я думаю, не оберетесь, а?

VIII

Тут вошла быстрая крошечная старушонка; личико у ней остренькое, ехидное, ухватки воровские; все заходит с разных сторон,

словно выискивает, где побольней щипнуть. Покружила, покружила она, да и говорит мне:

— Сегодня уж к барыне тебя не поведут; ложись, спи.

И ушла.

Сели мы ужинать. Сашу кликали — не пришла.

После ужина все спать полегли в кухне, а я сижу в людской — не спится. Я сижу одна, да думаю, да жду: "Что ж это Саша не бежит ко мне? И где она? Ушла ли, или мне откликнуться не хотела?"

Шелохнулось что-то. Подниму я голову — стоит передо мною высокий мальчик, мне показалось. Гляну еще — это Саша! А волосы у ней в кружок острижены: высокая такая стала и худенькая; живые, ясные глаза впали, и румянец сбежал с лица.

Встала я, и она стоит.

— Саша, — говорю, — Саша!

Так-то мне ее жалко тогда стало!

Она ближе ко мне.

— Обними, — говорит, — обними же меня да поцелуй!

Обнялись мы и поцеловались крепко. И плакать стали пуще.

— Мать благословение тебе прислала, сестры кланяются, — говорю ей.

Она вспыхнула, а расспрашивать ничего не расспрашивает; да и мне-то не говорилось. Сидим обнявшись, да изредка словом перекинемся, житье старинное, детское вспомянем.

IX

На другой день к барыне меня зовут.

Полная она стала такая и величавая. Осмотрела меня с головы до ног, как зовут спросила и говорит мне:

— Смотри ты, не избалуйся! Избалуешься — косу отрежут, вот как Сашке, и накажут строго!

Рассказала мне, что делать, приказала, пригрозила и выслала.

И стали мы вместе с Сашей жить да поживать. Не красно было мое житье, а Сашино-то горькое какое! Всяк ее упрекает, всяк корит и смеется.

Пуще всех донимала ее ключница: так, бывало, и язвит, словно жалом.

Старик повар… да и тот не без того, чтоб чем не попрекнуть ее: он сердит бывал трезвый, ко всем, бывало, придирается, и бог знает за что. То покажется ему, что ты на него взглянула не так, то насмехаешься, — за что-нибудь да придерется. А когда хмелен, то уж и быть нельзя ласковей. Всех тогда хвалит; а его бранят — уговаривает, что нехорошо это. "Люди, в мире живите! — говорит. — Не скучайте, не ссорьтесь, делитесь всем друг с дружкою; кто хочет выпить — я позволяю; сам бы ему купил, да все уж пропил — потерпи; а самое главное — дружно живите!" Больше всех он Сашу любил и ласкал, когда пьян бывал.

Один только повар пьяный и не обижал ее. А то, бывало, кто чужой придет, — торговка ли знакомая, или соседская девушка, гости ли к кому из людей, либо к ключнице — все-то поглядывают, шепотом спрашивают, головою покачивают, руками разводят… А она, словно обвыклася с тем, не жалуется, не горюет.

X

Я ей ни слова. Не надо ее тревожить, думаю, да раз вхожу в людскую (праздник был, господ дома не было, и люди разошлись), вхожу — печь топится, и Саша сидит на лавке, сама в огонь глядит, а слезы текут-текут.

Села я подле и рукой ее обняла. А она, на меня не глядя, рассказывать стала.

— Привезли меня сюда молодою, небывалою, и много я переплакала тогда. Все, бывало, вечерами плачу. Все мне чужое, все незнакомое, неласковое. Грусть-тоска была великая! Вот стою я раз на крыльце под вечер, да смотрю, да тужу; а уж весна шла: снег осел, почернел, под забором травка тонкая выбивалась; морозец еще держался, — ручейки, лужицы замерзали тонким ледочком. Солнышко красно и багряно заходит. Стою — так вспомнилась мне сторона моя милая! "Господи! — думаю. — Хоть бы глянула!" "Саша, чего заскучала? Не скучай, милая!" — слышу. Я сдивовалась-испугалась: гляжу — это баринов племянник молодой. Подошел, взял мою руку, пожал, еще на меня глянул и отошел. Испугалась я, и досадно стало: что он, пожалел, что ли? Пошутил надо мною, посмеялся? Ведь все они без жалости, без милости. Разве этот жалостливей? Глаза у него точно очень ласковые мне показались.

Задумалась я и долго все думала; тоска развеялась даже, только тревожна душа моя. Вспомнился мне тогда наш приезд, как он стоял перед барыней робко, как мешался, путался в разговоре за обедом.

Вспомнилось, что он часто на меня из-за двери глядит, бывало. Что работаю я около окошка — он ходит мимо и смотрит. В эту ночь я и во сне его видела. Встала на заре и опять о нем вспомнила. И день целый он у меня из головы не выходил. А вечером я опять на крылечко выбежала: увижу ли его сегодня? Скажет ли слово мне? Выбежала, а он уж тут стоит, словно ждет меня. "Здравствуй, Саша!" А я молчу. Стоим — он на меня глядит… вот, чую — глядит, а сама глаз не подниму, слова не скажу. Тут стукнул кто-то, мы испугались и разошлись поскорей.

XI

С той поры каждый день я его там видела, каждый день. Сколько раз ведь зарекалась: не пойду я, не хочу, да и сама не знаю, как выйду. А он мне так рад бывал, в глаза мне, бывало, смотрит и все спрашивает: "Любишь ли, Саша?" А я, скажу тебе, я очень его полюбила, очень. Как стали люди замечать да посмеиваться, сначала мне стыдно и горько было, а там — я думаю: что ж, люди смеются, — пускай себе! Я люблю его, я его! Что ж мне о себе думать-то? Думай он. Хорошо ему, весело, что смеются — смейтесь; а обидно ему покажется — сам он знает, что сделать. А я послушаюсь его слова, его приказу. Вот живу я себе и не тужу. Дома мы почти не видались: следили за нами; и вот, бывало, куда пошлют меня — я ему шепну, и сойдемся где-нибудь в глухом переулке, под чужими воротами сядем.

XII

Только раз приходит он встревоженный такой.

— Саша! — шепчет мне.— Дядя и тетка узнали все!

У меня сердце заныло.

— Разлучить хотят? — спрашиваю.

— Не бойся, не печалься! — уговаривает. А на самом лица нету.

Сели мы рядышком и наплакались вволю тогда.

— Как же нам быть-то, Саша? — спрашивает.

— Тебе знать, — говорю, — тебе и решать.

— Эх Саша, Саша! Что я решу! Меня тоска, меня сомненье пугливое берет! Что делать — не знаю! Скажи ты…

— Да что? — говорю.— Уж как ты не надумаешь, уж как ты не знаешь…

— Ты, Саша, на меня не смотри и меня не осуди: сам я себе не рад, ей-богу! Все я боюсь…

— Чего ж боишься?

— Да уж с детства так. Отец-то у меня суровый был и строг. Забил он меня и запугал. Вот и теперь еще все мне его голос слышится: "Не храбрись ты ни в чем: беду наживешь! Иди по дорожке хитро да тихо — хорошо будет!" — Я ведь и тебя-то обмануть сбирался, Саша; обмануть хотел и потом бросить, — ты прости меня! Не бросил: сил не было, потому что полюбил крепко… Скажи, Саша, скажи, что делать? Мучусь я, и голова кругом идет… Ох, Саша, если б можно мне было жениться на тебе!

— Женись, — говорю.

— А люди-то что скажут? Подумай-ка, Саша, как люди-то напустятся, — дядя, жена его злая еще пуще, — все! Все родные! Заклюют они нас, Саша! Умер бы я теперь с радостью!

И заплакал сам.

— Ну, умрем, коли хочешь, — говорю.

Он все плачет. И долго плакал. Встал потом и уверенно так говорит:

— Нет, Саша, грех умереть от своей руки! Будь что будет — женюсь я на тебе! Женюсь… Бог с ними со всеми! Что они мне? Чего бояться их? Женюсь, да и заживем с тобой!

Поцеловал меня и весел пошел себе.

XIII

Воротилась я домой — кличет меня ключница к барыне, сама злобно посмеивается: это она все барыне рассказала. Я пошла. Много тогда я наслушалась слов всяких, но до сердца те слова мне не дошли, — не оттого ли, что уж я знала их, ожидала… Я стояла перед барыней, слушала крик, и грозьбу, и брань, вот словно то далекий колокол гудел. Он у меня перед глазами носился, и все мне прояснялось кругом.

Целую ночь ту я глаз не свела, — думала, думала… Чего-то не передумала я тогда!

Утром господа чай пили, — вошел он. Я не ждала, что так рано он придет к ним. Я испугалась. Вижу, что и он не спал: бледный такой и усталый. Поглядел на меня, и тогда глаза у него блеснули, и отважный такой показался мне.

Господа удивились. Барыня неласково, сурово спросила:

— Что это значит? Откуда? Зачем?

Барин встал и по комнате стал ходить, потом опять сел.

А он все отважно им отвечает:

— Я пришел к вам с просьбою… Саша…

А барин его перебил:

— Да ну, ну, бог простит! Только смотри, чтоб вперед ты не глупил!

— Я не знаю, где совесть-то у твоего племянничка! — вскрикнула барыня. — Еще и разговоры об этом заводит!

— Да ведь от покорности, душенька; хочет прощенье получить от тебя, — говорит барин.

И заспорили меж собою. Спорят, а ему сказать слова не дадут.

Я-то все слышу и вижу из-за двери. Вижу, что он уж теряется, подбегает к ним, схватил их за руки и на колени сам упал.

— Отдайте мне Сашу, отдайте!

— Как? Что? Что?

И не поймут никак, что он говорит; вскочили, покраснели…

— Сашу отдайте! Я жениться на ней хочу!

— Жениться! — кричит барыня.— Ты с ума сходишь? Да ты помешался! Да ты пропадешь! Ты погибнешь! Да тебя всякий добрый человек на порог не пустит!. Как ты уживешься с простой девкой, с грубою, с глупою?

А барин курит, курит, — едва голова видна в дыму, и все покрикивает:

— Вот сумасшедший! Ах, наказал господь!

А он:

— Отдайте мне Сашу! — сам краешек барынина платья целует и за руки ее ловит.— Что ж, разве у простой девушки сердце не любит? Все мы равны перед богом, тетенька! Отдайте мне Сашу! Я умру без нее! Без нее я на свете жить не хочу!

Слушаю я, и жалко мне его стало!

— Пустите! — вырывается барыня.— Отстаньте! Как вы смеете со мною так говорить! Я не отдам девку! Что хотите делайте — не отдам! Подите прочь! Прочь!

Так он и упал рыдаючи. А барин ходит, да курит, да охает.

— Сашка! — крикнула вдруг барыня.

Я вошла. Она схватила со стола ножницы и кивнула мне, чтоб я подошла к ней, — я подошла. Она рванула мои косы — и стричь меня. Одну косу отрезала, на другой ножницы сломала. У самой у ней руки дрожат — рассержена.

Барин смотрит, остановился с трубкой. И он смотрит на нее, на меня, да только плачет слезно… А мне чего-то словно холодно стало, — вот будто какой-то ветер холодный обвеял меня и все от меня разнес далеко. Велит барыня мне рассыпанные, раскиданные волосы собрать и высылает меня.

Собрала я косы и вышла. Что ж? Я его добро; волен он был дать им меня. Только зачем же он отдал-то?

XIV

Барыня меня с того времени не велела спускать с глаз. Ключнице-то хлопот было! Недосыпала — все за мною следила. Только я шаг ступлю — за мной крик: "Куда? Куда?" И долго я его не видала. Не видала, и рада тому была. Вот, словно б я его совсем разлюбила. Не то что сердита я была, не то что обижена, а словно разлюбила, — не надо мне его.

Барыня долго меня донимала, долго гнала; потом он ходить перестал — забывать стала и бросила за него нападки. А барин и рад тому. Он тяжелый на подъем человек: обидеть ли, приласкать ли — трудно ему. Как уж рассердится, то после сколько дней сокрушается: "Зачем беспокоить меня? Делайте себе, что хотите, — меня не тревожьте, пожалуйста! Это все одно, что помешать обедать человеку!" Барыня не такая удалась; она вспыльчива и скорая на все: "Не хочу, не хочу твоего племянника на глаза пускать!" Барин сейчас согласен: "Не вели пускать, душенька: хоть оно и жалко немножко, да свой-то покой всякому дороже".

XV

Родился у меня мальчик, — такой крикунчик был, беспокойный! Хлопот мне было с ним много; ведь я невыклая была, молодая, а тут того нету, другого нету, то попроси у людей, то посоветуйся с людьми. Столько мыслей, столько-то заботы мне было! Кругом все на меня глядят с усмешкой. Кто б ни зашел к нам, кто б ни заглянул, — даже и обидным-то словом не хотят укорить — брезгают. Вот разве ключница не стерпит — крикнет. Только повар ласкал нас, когда пьян бывал. Да, да, и забот было, и хлопот! А на душе тогда тихо как-то стало, тихо…

XVI

Одним вечером, — я жила тогда одна вот в этой самой горенке, где меня замыкают теперь, чтоб дитя криком не докучало людям, — вечером сижу я, слышу — крадется кто-то, двери осторожно отворяет… крадется он: Глянула я и не обрадовалась, и не опечалилась, только мне будто скучнее стало. Исхудал он и измучился. Много говорил тогда, много плакал и ласкал, дитей радовался… "Я, — говорит, — сегодня ведь целый день у вас в сарае прятался, мучился, так видеть тебя желалось…" Я все слышу, все знаю, жаль мне его, только он мне лишний человек совсем.

А он с того вечера опять ходит. Как дитя он любил! Часто я, бывало, гляжу на них обоих, часто. Мальчик очень схож с ним уродился: такие же глаза ласковые и облик весь в его.

Все мне жалче да жалче его, сердцем всем жалко стало. Бывало, я думаю-думаю, — ум за разум заходит. И что это сталось меж нами? Он ли виною, я ли причиною? Станет он, бывало, о своем отце покойнике рассказывать, станет горевать да жаловаться, — и мне отец покойный примстится:[1] суров и тяжел, глаза у него ледяные, а грудь каменная, а голос повелительный. Сед он как лунь и страшен; и гнет он, и клонит детскую головку бессильную все ниже да ниже. А его я все себе дитею представляла, словно он дитя мое, и что рубят тому детищу руку правую. Такая тоска меня брала всегда, а все слушать я любила про его отца покойного: покойник все предо мною застелет тенью своей, и мне жалче станет он, милее…

XVII

Захворал мой мальчик и помер… Что это за жизнь-то наша, господи! Уж и годится ли тосковать так по умершим, как я тосковала? Какая жизнь человеческая? Все-то неладно так, все-то неясно так!.

Он с горя, с печали сам заболел. Пошла я к нему. Рад был он мне, как уж рад! "Пропал бы один, — говорит, — не знал, как мне быть, что мне делать!"

А как в дверь застучали, он задрожал весь: "Кто это? Откуда? Что делать!"

А то за мною пришли: барыня прислала. Пришли и берут меня от него, ведут, а он провожает да плачет.

XVIII

Привели меня, и в другой раз косу отрезали. Теперь за мной велено всем присматривать; а если не время, то меня замыкать приказано. И вот уж три недели я со двора не выходила.Его с той поры не видала я. Повар встречался с ним сколько раз, — кланяется мне, говорит, и очень печален. Через него он мне обновки, деньги присылает.

Томится душа моя, и нигде душа успокою, нигде душа себе приюту не сыщет. Приехала ты — без слов мое сердце облегчила, без ласк поуспокоила. Спасибо, желанная ты моя!

И так схватила Саша, так меня в своих руках крепко сжала! И вдруг обессилела и, словно разбитая, упала около меня. Грусть и мою-то душу сдавила. Обнимаю я ее:

— Усни, — говорю, — усни у меня на коленях!

— Ах, как же уснуть-то мне! — промолвила.— У меня из сердца будто горький ключ бьет, и кипит, и всю душу мою топит!

XIX

Думаю, я, думаю, чем пособить ей и как помочь, да и говорю раз:

— Саша! А схожу-ка я к нему да все разузнаю: веселей нам будет!

— Что ж знать-то? Сходи, коли хочешь, — ответила, — а веселей, видно, не будет!

— Не круши себя, Саша! — упрашиваю.— Ведь он тебя любит, сама говоришь, и ты его любишь, — не горюй. Расскажи только мне, куда идти и как мне узнать его?

— Да ты выйди вечерком на угол. Верно, он там стоит, меня ждет. А узнавай ты его по красе, по виду честному. Белокурый и кудрявый, шинелька черная на нем; а походка у него тихая.

Выждала я времячко — побежала на угол, а прямо навстречу мне он; я сейчас узнала.

— Саша кланяется, — ему шепнула.

Он вздрогнул и ахнул:

— Чья ты? Откуда?

— Я деревенская, — отвечаю.

— Ах, так это ты приехала недавно? Я знаю, все знаю, что там у вас делается, хоть сам и не бываю. Что мне Саша велела?

— Ничего, только кланяется.

— Или уже не любит она меня, что и словечка не нашлось у ней посердечней! Хоть от меня скажи ты ей, что нет мне ни сна ни покоя, что меня разлука сокрушает!

— Да что ж ей делать-то? — говорю ему.— Не ее воля!

— Ах, что ж мне делать! — вскрикнул.— Я б рад украсть ее, да как?

— Как же украсть? Трудно, — говорю, — трудно уж теперь горю пособить. Если б прежде-то вы порешили чем…

— Да, если б я знал-ведал все муки да все горе, я порешил бы. А то ведь опомниться не успел! Накричали на меня, нашумели, и грозят, и упрекают; с толку сбили меня, отуманили! Что ж Саша говорит?

— Ничего об этом не говорила.

— Ничего!. Сердечная девушка — слава ей! Верно, живется весело и без меня, — тоска не обуяла?

— Эх, — говорю, — не вам бы на нее обижаться! За кого она теперь в четырех стенах-то замкнута?

— Как же быть? — вскрикнул. — Ну, я пойду к дяде, побегу! Я в ноги им кинусь, молить-просить их буду!.

— Вряд ли послушают.

— Да я Сашу видеть хочу! Пусть они мне голову снимут, а я Сашу увижу! Пойду!

XX

Я испугалась: что тут будет? Чтоб еще хуже не натворилось!

Он торопливо так к дому барскому идет, а я себе за ним бегу. Он к господам, я к Саше бросилась. Мечусь во все стороны, ей рассказываю да своим умом раскидываю, что будет; а она недвижно сидит.

— Саша! Что ж ты? — говорю ей. — У меня вчуже сердце замирает, а ты себе не шелохнешься, не шевельнешься!

— Ах, милая! — ответила, усмехаючись. — Сядь да утишься: не из тучи гром! Ты меня спроси, я лучше знаю — расскажу.

— Да ведь он к господам пошел!

— Знаю, что к господам пошел. И храбр он, пока идет; а лицом к лицу станет, руки у него опустятся — оробеет. Я знаю его; поверь моему слову!

Я все-таки успокоиться не могу, все жду — вот крик, шум, беготня поднимется. Но все тихо; часы идут. Не вытерпела я, прокралась к господской комнате; а там уж темно — спят.

Смущенная, я воротилась к Саше: что ж это такое?

А Саша только глянула на меня да усмехнулась.

XXI

На другой день Сашу шлют и за хлебом к чаю, Сашу шлют и к портнихе. Ключница рвет и мечет в гневе; кучер Саше ворота настежь растворяет, шутит с ней; повар (он в тот день тверез был) кричит на всех, швыряет дровами по избе. Парни хохочут. Я уж не знаю, что и думать.

— Саша! — говорю.— Что ты мыслишь? Как же это? Его послушались, что ли? Как же пускают тебя?

— Да, верно, ублажил их, — говорит.— Ты не тревожься по-пустому. Люди не враги себе: они подумали и все уладили себе не в обиду.

— Лучше ты, Саша, заплачь, — говорю.

— Видно, тебе слез-то девать некуда! У меня ж не обильно, — ответила.

XXII

Свиделась Саша с ним, но веселья у ней не прибыло.

— Что ж, Саша, рад-то, думаю, как был?

— Рад, — ответила.

— А сладил-то все это как?

— Поклялся им, побожился, что жениться на мне не женится. Присягнул им — теперь они спокойны: пусть его утешается!

— Хоть и обидно, — говорю, — да все тревоги такой не будет. А, может, после…

— Попусту и не надейся, — перебила меня, — он пуглив больно. Не всякую ведь любовь в люди показать хочется, милая! Как не цветно наряжена, не красно убрана, то дома, в уголке под лавку хоронят: "Сиди, любовь, утешай меня, а в люди не выходи, — осудят люди и хозяина пристыдят".

— Ах, Саша, — говорю, — он любит тебя!

— Ах, себя-то самого еще больше любит, скажу тебе.

— Нет, не греши, Саша. Это его просто обошли, отуманили; потерялся он, а любить любит. Как убивался по тебе!

— А вот как. Мальчишка из чужого сада себе яблоко добудет, и бьют его за то, — ведь он плачет, а яблоко отдать не хочется. А спроси-ка ты — признаться-то стыдится.

— Все ты, Саша, горе себе выискиваешь, словно им только и живется тебе.

— Какое горе! Ей-богу, не горе! Так, мысли мои.

XXIII

Все она в тех мыслях, да думах, да в раздумье, мало говорила, мало и глядела на что.

А он тревожится, спрашивает ее, потом подозревать стал: "Другого любишь!" И как он плакался, жаловался! Как ее и молил горячо, и обижал горько!

— Саша, Саша! — говорю ей. — Подумай ты да уладь свои дела! Ведь измучитесь вы без толку. Как он тебе покорен, как любит! Ну, что тебе не по нраву, ты прямо скажи, просто научи его.

— На целый век не научишь, голубушка! Эта грамотка не дается ученьем. Нет, уж полно мне вчерашнего дня все искать.

— А зажили бы вы хорошо, этак в любви, в согласии тогда!

— При нашей бедности такие нежности! — смеется, а сама все о чем-то мыслит. — Знаешь, — говорит опять, — попросила б я смерти себе, да могила темна!

— Бог с тобою, Саша!

— Погоди, погоди! — перебила. — А он думает, что я другого полюбила, да кого же? Некого мне полюбить! Не хочу, не могу… Что тратиться по-пустому? Кто скуп, тот не глуп…

И, бывало, как начнет, то уж чего-чего она тебе не доведет.

XXIV

Господи! Какой содом у нас был тогда в целом доме! Барыня с барином ссорится, что на коляске прокупился; барин морщится да стонет; наш ревнует; ключница воюет с людьми… На нее, на ключницу, бывало, как найдет — по целым неделям так и жалит. Повар, слава богу, тогда пил все, так весел ходил и увещевал только, чтоб жили мы дружно.

XXV

Саша еще задумчивей стала и от него бегала. Никуда ее не вызовешь ни погулять, ни пройтись. Только в монастырь по воскресеньям ходила. Потом и к ней монахиня стала наведываться, — худая такая, хилая; ходила, на палочку опираючись, а лицо этакое спокойное, — оттого, верно, что все она молитвы читала. Прибрела раз эта монахиня, и Саша ее к барыне повела. Сидела монахиня долго там, и Сашу призывали, и барыня монахиню чаем угощала, и велела отвезти в коляске в монастырь. Спрашивала я у Саши:

— Что такое это?

— Погоди, — говорит, — все узнаешь.

XXVI

Вечером вижу — Саша узелок связывает. Удивилась я, на что она это делает… Вижу — и рубашки туда уложила, и деньжонки свои.

— Саша, да скажи, что это такое будет? Куда ты сбираешься?

— Прощай, голубушка! — ответила.— Живи — не тужи, понемножку плачь, понемножку радуйся, за чужим не гоняйся, а своего… боже сохрани, — своего не трать! Помни, что глупому сыну не в помощь богатство.

Мне страшно стало: что с нею?

— Не бойся, не пугайся: я в памяти. А иду я в монастырь. Барыня позволила. Она боится отвечать за мою душу богу и позволила. Я завтра чем свет иду. Ты ему скажи сама об этом и поуспокой.

— Такая молодая! — говорю.

— Не старая, да бывалая. Да скажи ты ему еще, — попроси от меня: пусть не тревожится. Мне уж отдохнуть хочется. Я там отдохну.

XXVII

Господи, что с ним творилось, как узнал! Жалко было со стороны глядеть.

Я хоть изредка, а все ходила к Саше. Она там при монастыре служила. Там славно у них! Стоит монастырь тот за городом, на горе, в лесу. Через ограду в монастырский двор деревья зеленые свесились, и

сама ограда зазеленелась, замшилась. Кельи темные, маленькие, а в окошечко глянь — сколько цветов цветет! Какая мурава мягкая! Под горой, слышно, река журчит; а прислушайся еще — в городе колеса по мостовой стучат.

— Хорошо тебе тут, Саша?— спрашиваю.

— Хорошо, — отвечает.

— Покойно?

— Покойно.

Еще неречистее она стала. Разве о нем спросит иногда, как живет, да что делает. Я ей раз говорю:

— Саша, ты до сих пор о нем все вспоминаешь… не грех разве?

Она улыбнулась.

— Да, — говорит, — куда ж его, хоть и грех, девать? Промолчу, — разве простится?

— А не жалко тебе его? Скажи по правде!

— Нет, мне ничего не жалко.

Спрашивала я ее, что как это тебе на сердце пришло в монастырь пойти?

— Я часто сюда ходила, — ты знаешь, — и полюбилось мне. Тихо так тут, безмятежно. Я свою работу отработаю да и сяду где-нибудь. Сижу

— листья шумят, река журчит; птицы поют и порхают, голосу людского не слышно мне.

XXVIII

Я сама сколько примечала, ей хорошо жилось. Так ее хвалили все в монастыре. И старая монахиня, что за нее у барыни просила, очень полюбила ее: идет, бывало, мимо — всегда ее благословит. Я уж рада, что она пристроилась, успокоилась. "Пусть ее живет в монастыре! Хорошо ей там", — думаю. А она нежданно, негаданно и умри. И в монастыре-то никто не знал: никого не покликала, а может, не могла покликать. Умерла она в своей келейке тесной да темной…

Я была, как ее хоронили. На дворе было ярко, ясно. Свечи кругом гроба пылали; пламя дрожало, а солнышко играло на ее лице. А такое у ней задумчивое лицо было, такое мученическое!

Он и до сей поры ходит на ее могилу и все молится там. Жениться не захотел. Я его сколько раз на могилке встречала. Такой печальный!

"Никто уж не повеселит меня так, как моя Саша покойница! Бог судья дяде и тетеньке!"

---

notes

1

— Примстится — примерещится.— Ред.